

### Футурист пятидесятых годов

Было это еще до хрущевской речи против культа. Вехи времени здесь важны, поскольку тот же самый поступок в одну эпоху выдается как яркий и необычайный; в другую — в нем нет ничего особенного, словно и самого поступка нет.

В Ленинградский университет приехал Назым Хикмет. Тогдашних лет пропаганда запечатлела . . . даже не в совсем юных умах имя Хикмета как раблезианских размеров классика, как живой монумент самому себе. Словом по причине нашей культурной обновленности и нищеты Хикмет выглядел большим поэтом. Таким же великим как Пабло Неруда и Луи Арагон, автор кирпича в жанре романа под названием "Коммунисты". Я решил пойти посмотреть на иностранца. Тем более, что он был первым иностранцем, которого я видел, не считая "демократов". Последних, то-есть албанцев, немцев, поляков . . . и всех иных из колониальных стран Европы было немало, а китайских студентов в Ленинграде было тогда до десяти тысяч.

Примерно в те же дни появился в университете человек с весьма запоминающейся внешностью. Чрезвычайно тощий, не по-русски длинный, прямой сухой блондин с усталым серьезным лицом. Пальто мешковатого вида из несоветского материала висело на нем как на гардеробной вешалке. Геометрия плеч подчеркивала это сходство. Ничего не было легче, чем выделить его среди тысячной толпы и запомнить на годы. Но стоявший рядом со мной едва знакомый мне студент сказал мне: "Американский шпион."

"Учится в университете". С точностью проверенного диагноза : шпион и никаких гвоздей. Позднее я видел не раз нелепую фигуру американца, всегда в круглом одиночестве. Вероятно, каждому он был представлен со спиной и с той же рекомендацией. Естественно, неприкасаемость лодила за ним по пятам. Каждый боялся приблизиться. Именно в это время была популярной лагерного происхождения песенка:

Он предлагал мне деньги  
и жемчуга стакан,  
чтоб я ему разведал  
советского завода план.

Словом, дело было серьезное.

Итак, шпион, <sup>мой второй иностранец</sup><sub>прыгнул еще из Америки</sub> через океан, а Насым Хикмет <sup>мой первый иностранец</sup> уже выходил на сцену в актовом зале Двенадцати Коллегий. Студентов в зале было меньшинство, на это я сразу обратил внимание. Аудитория состояла из людей постарше среднего студенческого возраста. Мне, первокурснику, показались они преподавателями - может так оно и было. Знаменитость на сцене оказалась вполне упитанной и в меру холеной личностью. Рыж, высок, с хорошей кожей лица, без русского городского сероватого оттенка щек, без теней под глазами. Стихи читал по-турецки, и фонетика заморского наречия присутствующим преподавателям понравилась.

Впрочем, по-русски поэт говорил очень сносно. Нужный Москве был человек. Знал меру и турецкие стихи читал недолго, ровно столько, чтобы очаровать экзотикой ритма, стамбульской гортанностью звуков, поставленным рокотливым голосом. Затем решено было задавать вопросы. Один вопрос был задан, другой. Потом вдруг прозвучал голос как из бочки, легко перекрывающий пространство зала. Я уже слышал эту единственную интонацию раньше. Спутать ее ни с чем было невозможно.

Я посмотрел через несколько рядов в направлении голоса и узнал человека, которого уже не раз видел в коридоре филологического факультета и на Университетской набережной в солнечные дни. Всегда в окружении людей, говорящих громко, и сам говорил громко, но ровно и без суеверности. Люди, применялись к его интонации достоинства, невольно имитируя ее.

С той же интонацией, которую я сейчас слышу, задал был вопрос - что-то о футуристах; возможно о том, повлияли ли на Хикмета другие футуристы, кроме Маяковского, то есть те, добавим от себя, кого университетский учебник ущемлял мелким шрифтом и по ком проложился мелким бесом. Тут меня уже перестал интересовать рыжий турок на эстраде, и все внимание мое сфокусировалось на спрашивающем. Я еще в своей жизни не слышал, чтобы кто-либо задал вопрос таким образом:

← **в** полном зале, человек на четыреста, обыденно и спокойно как с дедушкой на завалинке. Не было в голосе подчеркивания независимости. Независимость была такая натуральная, что даже не сознавала себя. Уважение собеседнику авансировалось такое, какое может быть лишь по отношению к равному, и все же с обертоном бессознательного покровительства. Так, например, можно задать вопрос младшему брату, с симпатией и давая понять, что с ним говорят на равных, и пусть он, наконец, забудет возрастную разницу. Сама интонация была какая-то демократичная. То есть без русских экивоков и комплексов: без приниженности и без желания показать себя чем ты являешься и чем хочешь явиться, без "мы тоже не лаптем". Это было необычно, непривычно и удивительно.

Сомневаясь, что Хикмет хорошо чувствовал тонкости русской интонации. Но он выделил спрашивающего и отвечал ему

иначе, чем другим, бессознательно ощущив Личность. Когда выступление кончилось, тот подошел к Хикмету, обратившись к нему запросто по имени - "Назым". Затем они пошли по университетскому коридору, продолжая разговор.

Вскоре я познакомился с ним, с Мишой Красильниковым. Разговор коснулся одной философской книги сомнительного содержания. Я сказал, что все же вижу в ней такие-то достоинства / прощаю себе восемнадцатилетнему/. Реакция Красильникова была, на мой нынешний вкус, поистине философская. Сказал он лишь: Да что ты, Вадим! - и сказано это было с таким сожалением и участием и искренним недоумением, что я как бы пропрэзвел.

Ителлектуальные аргументы присутствовавшего тут же Ю. Михайлова /Красильникова друга/ не произвели на меня никакого впечатления, в сравнении с Мишиным восхищением. Я узнал, что Красильников и Михайлов недавно восстановились в университете после годового /или больше?/ исключения за безобидную проделку.

На лекции, имевшей отношение к русским древностям, явились они в расшитых русских рубахах, в сапогах. Достали /не из запасухи ЭС ли?/ деревянные миски, из-за голенищ деревянные ложки, приготовили на гласах у остолбеневшей преподавательницы квасную тюру и тут же стали хлебать ее, мужиковато присоединясь и почтительно собеседуя. Был это всего лишь театр для себя. Посмеявшись бы тут да перейти к плюскумперфектуму или аористу, да год был несмешной - в самом начале пятидесятых. К тому же 1-ое декабря, то-есть траурный день в Ленинграде: годовщина зверского убийства троцкистами Сергея Мироновича Кирова.

В "квасном патриотизме" Красильникова партийное бюро факультета узрело злостный выпад против памяти любимца питерских рабочих. Десятки дармоедов занялись изучением преступления.

Порок был наказан, справедливость торжествовала, злоумышленники изгнаны из университета.

То ли отец полковник спас Мишу от худшей кары, то ли просто звезда, которая сияла Мише до поздней осени 1956 года, но отдался он сравнительно легко, куда как легче, чем в ноябре 1956-го. Вольный поступок произвел всеуниверситетскую сенсацию, и ведь был он действительно в духе Красильникова. Во-первых, поступок, а не фига в кармане. Во-вторых, оригинальный, хотя и навеянный чтением русских футуристов. В-третьих, поступок забавный, игровой и веселый. И в четвертых, поступок абсолютно добродушный, такой, который не затрагивал никаких интересов, не наступал на чью-нибудь амбицию, не оскорблял, не претил нормальному вкусу, но напротив, всех потешал, поражал и освежал.

В общем Красильникова восстановили в университете, хотя уже не на идеологически важном отделении журналистики, но на отделении русского языка, тоже идеологическом, но не важном. Не думай, что он был заядлым посетителем лекций. Чаще его можно было видеть в коридоре, который, мне думается, был лучшей кафедрой ~~университетской~~ факультета. Разговоры, которые там велись, не все были учёные диспуты. В них было больше веселости, чем серьезных материалов. Но имена писателей, которые в коридоре были обиходными, в университетской программе обходились молчанием — нечистым молчком. Много людей подвизалось вокруг Красильникова; натура его была широкая и был в нем дарованный магнетизм — привлекать людей. Но несмотря на его тотальную добромежелательность, само собой случилось, что подбирались и отбирались / люди творческой природы. Из того круга самые известные теперь Уфлянд и Целков. Но уже тогда в пятидесятые годы юный Уфлянд казался мне зрелым поэтом, и

жный Олег Целков значительным художником. Ни тот ,ни другой к филфаку отношения не имели. Да и не только они. По како<sup>й</sup>-то касательной соприкоснулись с этим кругом Евгений Рейн и Дмитрий Бобышев. Сверкнул в 55-ом или шестом Глеб Горбовский. Мелькнул на краткий миг писатель Голявкин, тогда студент Академии Художеств. С Володей Герасимовым появлялся Сергей Вольф - загадочная для меня фигура,острослов, в его присутствии становилось неуютно,ощущалась напряженность. Несколько его стихотворений было известно, говорили, что он пишет рассказы, кажется,так оно и было.

Начинались перепатетические времена. Само слово "кружок", доставшееся нам от общественной жизни девятнадцатого века, может быть произнесено лишь условно. И стиль времени и хозяева времени не позволили бы существовать группе с какой-либо фиксированной структурой, членством и формулированными правилами игры. А у Красильникова имелось в меру художественного вкуса и своеобразного такта поведения, чтобы никогда не заняться, а может и не подумать о формализации кружка, о ярлыке и программе. В иные времена из этого кружка возникло направление, журнал. Но время позволило ровно столько, сколько позволяло.

Ядром кружка ,по моим понятиям, были сам Красильников, Уфлянд, Еремин, Виноградов и,пожалуй, Герасимов. Примыкавших в той или иной степени было много. И как сказано раньше, кроме примыкавших, были мелькавшие. Например, упомянутый здесь Голявкин ни в какой степени не примыкал; просто Красильниковские перепатетики не сидели на месте, и таким образом встречали разных людей.Однако по неуловимым приметам "свой" легко отличался от "не свой".

~~о кружке этом уже немногого писал. Несколько лет назад~~

что-то появилось в "Песенке". В первом томе "Антологии" Кузьминского - ~~интересный, честерик~~ Льва Либница. Но раньше всех <sup>0</sup> кружке писал Вадим Нечасев, посвятивший Мише главу в своей ранней повести "Вечер на краю света" /1964/. Книга вышла давно, малым тиражом, и, таким образом, имея отношение к нашей теме, заслуживает длинной цитаты:

"И опять он увидел прежних друзей своих. Они все сидели в той же просторной комнате, чуть подвыпившие, и почему-то наперебой уговаривали его жениться.

- Да, да, - говорил его любимый старший друг Михаил Кронов, которого за любовь к искусству и за обаяние прозвали Бурлыком, - да, тебе, Маря, просто необходимо найти подругу жизни.

При этих словах второй его друг, слышавший зрудитом и похожий на редкую экзотическую рыбку, саркастически усмехнулся и добавил:

- Чтобы ставить ему клизмочки?

- Володя, - сказал Миша Кронов, - не кощунствуй! Мы должны помочь Маре. Нам больно смотреть, как он скатывается в пучину низменных наслаждений. Он не рожден для гордого одиночества.

- А кто рожден,- спросил третий, он всегда держался с такими  
стремительностью, говорил отрывисто и постоянно был голоден.

- Нет, нет, не спорьте, Мара должен жениться, - продолжал Миша, по привычке растягивая слова. - В нем пропадает редкий поэтический дар.

- У кого он не пропадает,- вставил чей-то ехидный голос.

- А чем он питается? Поглядите, - вел свою линию Кронов. - Это тихий ужас! Одними пельменями он питается.

- Разве у него есть пельмени? - спросил третий, тот, который был лично полюбен...

Это то-то и оно, что у нас нет пальчика!... — сказал Кронов.

Кто-то из наш обязательно должен жениться. И больше всех в этом нуждается Мара. Он такой меланхолик, что я боюсь оставлять его одного.

- У меня тяжелый характер, - сказал Марат.
- Это ничего не значит, - возразил Кронов.
- Значит ты приносите меня в жертву Гименею? - спросил Марат, счастливо улыбаясь.

- Да, да, мы хотим, чтоб ты сейчас, сию минуту женился, - сказал третий.

- Сейчас же? - переспросил Марат.
- Сию минуту, - подтвердил третий.
- И тогда у нас всегда будут пельмени, - сказал Кронов.
- И гречневая каша, - сказал второй, слышавший эрудитом, он и был им<sup>6</sup>

Подыгравши Красильников /в повести - Кронов/ развивал свою очередную идею как раз в манере, показанной у В. Нечаева.

Второй - эрудит, похожий на рыбу, - Володя Герасимов. Третий - по-видимому, Л. Виноградов; точнее не угадать, а Вадима Нечаева я никогда об этом не спрашивал. С увеличением объема выпитого Красильников впадал в лирическое настроение и начинал читать стихи - часто Уфлянда:

На станции без названия,  
Где выйдя гуляют по лесу,  
Я долго ходил за вами,  
Чтоб вы не отстали от поезда.

Конечно, отстали мы оба,  
Попшли по шпалам пешком  
и т.д.

Читал Уфляндовы стихи так, как сам Володя, по моему, не мог.

Изредка читал свои стихи. Собранны ли они? Бывало, что компания пела свой гимн - на популярный джазовый мотив и слова Красильникова:

Мы картошку выкопаем  
всю дотла.  
А потом пойдем в избу  
искать тепла.

А потом мы будем  
на соломе спать.  
А потом возьмем с собой  
землицы пядь.

Будем вспоминать мы,  
в чем была вина тьмы.

Этот припев переходил в жизнерадостное футуристическое ржание.

Были там еще такие слова:

Церковь, синагога  
суть ужасный яд.  
В церковь ходит только лодырь,  
бюрократ.

Вариант:

Церковь, синагога  
суть ужасный яд.  
Водку пьют  
крестьянин, лодырь, бюрократ.

Бескорыстная защита пропагандных штампов непременно вызывает комический эффект; этот был изобретен Красильниковым. Уфлянд, написавший многие ранние стихи в том же жанре, я уверен, первоначальный импульс получил от Красильникова.

Позднее Владлен Гаврильчик, не знаявший Уфлянда и Красильникова, самостоятельно набрел на тот же <sup>прим</sup> <sub>рой позыки</sub>, дав ему точное имя — "маразмарт".

Песня была сочинена в какой-то из сентябрей пятидесятых годов, когда студентов вывозили в область копать картошку. Во всяком случае, в конце 1954-го я уже слышал эту песню.  
*/Дата важна в плане хронологии маразмарта/.*

Подобный же энтузиазм обнаруживался не только в картофелеводстве, но и в более деликатных сферах, как то изобразительное искусство. Скажем, Красильников со всеми спутниками оказывался на выставке Кончаловского в Академии Художеств /1956/.

Зрителю, которого четверть века сего  
мическим натурализмом, живопись Кончаловского могла пока-  
заться левейшим авангардом. Походив по выставке, Красильников  
и приятели, направлялись к книге отзывов. Совместными усилиями  
импровизировался отзыв вроде следующего, в котором верен дух,  
а не буква, ибо по прошествии стольких лет не могу цитировать  
все те записи в книгах отзывов наизусть: Мы, цвет ленинградского  
пролетариата, посетили выставку Кончаловского, чуждую духу  
социалистического реализма и выражаем наше рабочее недоумение,  
что такое безыдейное с позволения сказать искусство еще живет  
в наших рядах. Художник под влиянием гнилого Запада рисует  
цветочки вместо злободневных дел. С корнем вырвать такие цветочки!  
Дорогие товарищи устроители, чаще показывайте нам патриотические  
полотна Иогансона, Серебряного и Кукрыниксов. Выше знамя культуры  
в массах. Затем следовали подписи.

Как я сказал, - это не цитата. Но игра обычно строилась на том, чтобы абсурд, уже существующий, сделать более осязаемым, более рельефным, чтобы снять границу между абсурдом и маразмом. Однажды я подошел к рабочему и спросил: «Что же это за скверный котенок?»

Могло составиться впечатление, что игра не прерывалась, точнее игры. Но это было больше чем озорство. Это был футуристический театр для себя, слишком веселый и независимый для подъемной, невеселой эпохи. Нельзя сказать, что участники этой игры родились слишком поздно, не в свое время. Без них эпоха была бы еще мрачнее. В добавок все это имело отношение к литературе и искусству и даже повлияло на них в <sup>некоторых</sup> случаях.

Еще чаще игра обнаруживала лишь темперамент участников и их "гносеологическую гнусность", если использовать выражение

жение Набокова в его "Приглашении на казнь". Скажем, компания направлялась в университетскую столовую, покупала неслыханное количество клюквенного киселя и начинался конкурс. Победителем являлся, конечно, выпивший наибольшее число стаканов. Красильникову приписывали рекорд - сорок стаканов студенистого картофельного крахмала, подкрашенного клюквенным концентратом! Кисель был дешев. Приведенный вне атмосферы тех дней, случай этот должен вызвать лишь слабую улыбку или решительный вопрос: ну и что? Но для участников кисельного состязания, кроме развлечения и радости быть вместе, в этих кисельных реках было еще достоинство направленности против течения, против убогой обыденности.

Разговор за киселем, как и за другой выпивкой и без питья вовсе легко переходил от буффонады к серьезным темам, причем литературная и художественная осведомленность участников была редчайшей по тем временам. Группа не брала на себя никакой роли вообще, но независимо от личных желаний, объективно говоря, роль была просветительской. Те ~~же~~ авторы, о которых в этом кругу говорили в середине пятидесятых годов, стали достоянием "общественности" лишь в середине шестидесятых. Уже с 1954-го знали в этом кругу всех художников "Мира искусства", говорили о журналах начала века - "Аполлон", "Весы", "Золотое руно" и других. Уломинались имена русских поэтов, вряд ли известных преподавателям филологического факультета. Кто знал тогда в России Джойса? Но эти люди откопали перевод глав "Улисса" в забытой "Интернациональной литературе". Читали "Портрет художника в юности" Джойса, Шервуда Андерсона, Хемингуэя еще до моды на него, Пруста и Луи Селина, не говоря о множестве иных русских и западных авторов. Открывая запретные имена, книги, картины, журналы, соответственно и чувствовали себя словно первооткрыва-

тели. На филфаке нас стерильно оберегали от "цветов зла" и соответственно подготовили умы остро жаждые до недозволенных духовных ценностей.

Назвать вещь - значит упростить ее. Название есть перевод и поэтому влечет за собой известную потерю. Если все же определить, каким был этот кружок, то со сносной точностью можно назвать его эстетическим и модернистским. Эстетским он, конечно, не был ни в каком отношении, даже в стихах поэтов кружка. Даже сам Оскар Уайлд в Ленинграде 1955 года ходил бы в штанах с пузырями на коленях и в выходящей из моды лондонке - кепке из пестрой ткани и якобы первоначально популярной среди лондонских кокни. Брюки на три пальца уже чем обычный клеш, превращали вас в социально опасного стилягу. Внешний вид компании / Красильников говорил "кумпанство", разговор называл "беседой" и т.п./ был в общем-то затрапезный, хотя непышный кок над красильниковским лбом и узкие брючки Володи Герасимова намекали на некие предпочтения. Так что эстетическая ориентация имела более общего с содержанием, чем формой. Содержание же было модернистским. Ценились французские импрессионисты и постимпрессионисты, и несколько малопосещаемых комнат на третьем этаже Зимнего дворца, где висят картины Монэ, Сезанна, Ван-Гога, Гогена, Матисса, были местом поломничества. Пикассо был признан одним из достойных задолго до знаменитой выставки в Эрмитаже, когда имя этого великого конъюнктурщика пошло по проектным институтам вместе со стихами Рождественского и Евтушенко.

Самым блестячим эрудитом числился Володя Герасимов. Человек с прекрасной памятью, сильной тягой к экзотическому и анекдотическому знанию, был довольно беспомощен перед лицом

университетской программы и переходил с курса на курс и шатко и валко и нерегулярно. Но за пределами знаний, годных лишь для экзамена, это был блестящий человек. Когда вы пытались говорить с ним на том уровне, где по необходимости присутствует обобщение, анализ, идея, он скучал, и вы немедленно понимали, что это ваша, а не его глупость. Его интересовали эстетические впечатления и их анекдотическая бахрома, и обилие сведений на этом уровне было у него баснословное.

Однажды Рид Грачев, который относился к Володе с огромной симпатией, навестил его в больнице и затем рассказывал мне: лежит один, общаться не с кем, новостей ни от куда, читать нечего, но удивительное дело — столько у него новостей, рассказов, историй, анекдотов, кажется, никогда не иссякнет.

Я встречал Герасимова по библиотекам: в журнальном зале Публички, листавшим редкий, полностью забытый журнал, в библиотеке Эрмитажа, в библиотеке Академии Художеств, в библиотеке Академии Наук, куда студенту вообще было трудно проникнуть. Он знал все запасники ленинградских музеев, так сказать музейные спецхраны, цель которых скрывать сокровища от зрителя. Герасимов был рожден — так мне казалось — чтобы стать выдающимся искусствоведом. Игорь его никогда не звал науиться, но не был таким доброжелательным как у Красильникова. Мы оказались с Володей в Русском музее, он предложил сфотографировать меня. Я ничего не подозревал; через несколько дней подает мне снимок: я стою рядом с ослом, который из картины Семирадского выбран как фрагмент в качестве "остроумного" фона. Кажется, он же фотографировал нас на кладбище Александро-Невской Лавры. Снимок случайно сохранился. Красильников /слева/ имитирует позу великого композитора Стасова (?). Ковбойка подпоясана на манер композиторской простонародной рубахи. Уфлянд — справа, я в центре. Были и еще

снимки этой серии.

Примикал к кружку, точней - соприкасался с ним и Рид Грачев, ибо как сильная и завершенная индивидуальность, <sup>он</sup> органически не мог стать ничьим последователем, но сам был центром, стягивающим к себе десятки людей. С Красильниковым его могла объединить случайная кружка пива у киоска в погожий день или <sup>какая-нибудь</sup> ~~иная~~ <sup>прот</sup> делка. Помню на одной из демонстраций, на которые ходили охотно, кричали лозунги, кесусветно путая "долой" и "да здравствует". В особый раж вошли, поравнявшись с обкомовской трибуной на Дворцовой площади. Помню весьма неодобрительные взгляды демонстрантов в соседних рядах, несколько таких взглядов я перехватил. Все обошлось, к тому же и шум кругом стоял не малый - поди гадай разберись. Такая же осенняя затея 7 ноября 1956 г. не кончилась благополучно. Я на этой демонстрации не был. Через день или два я узнал, что Мишу взяли - то ли за "свободную Латвию" / он был из Риги/, то ли за "свободную Венгрию"/год венгерских событий/. До Дворцовой площади на сей раз не доехал, схватили на Дворцовом мосту.

Увидел я его через четыре с лишним года в Риге. Он отсидел в Мордовии, недавно вернулся домой, выглядел как <sup>надо</sup> после болезни, много пил. Разговор <sup>был</sup> почти такой, как раньше. Но на протяжении всех часов встречи не <sup>покидая</sup> ~~зходило~~ острое чувство, что что-то ушло невозвратимо, и не только время. Тогда, в пятидесятые годы, его несла волна истории, которая не смотрит на размеры личного дарования. В шестидесятые годы волна уже взметнула других.